

ФОНСЕКА-МАНЕКЕН

... **А** безработица в том году была такая, что приятель мой Эпитасий Фонсека нанялся в один магазин мужского белья манекеном, пижамы в витрине демонстрировать. Он-то хотел продавцом или хотя бы рассыльным, но продавцов у них и без него хватало, а для рассыльного он слишком представительного оказался телосложения, да и лицом был важен и строг, будто член суда. Такому захочешь сказать:

— Эй, Фонсека, снесешь эти свертки на Проспект Независимости, 20, да смотри, не задерживайся нигде, мигом возвращайся, знаю я вас, бездельников, вам лишь бы не работать.

А вместо этого выходит: — Когда у господина Фонсеки окажется свободная минутка, не будет ли господин Фонсека любезен...

В общем, не взяли Фонсеку в рассыльные, а предложили стоять в витрине в полосатой шелковой пижаме и коротком шлафроке цвета давленной вишни с десяти до часу и с двух до семи.

Фонсека подумал и согласился, всё работа, хотя поначалу ему приходилось несладко, это же попробуй постой неподвижно три часа, ни с ноги на ногу не переступить, ни носа почесать, ни еще чего, и, что всего мучительней, курить нельзя. Фонсека уж как убеждал управляющего, что сигарета только добавит его образу убедительности, а пижаме и шлафроку привлекательности, тот ничего слушать не хотел: — Пожарная безопасность! — кричал. — Пожарная безопасность! — и в табличку «не курить» пальцем тыкал.

Потом-то Фонсека попривык, даже начал находить в своей работе какую-то приятность, а потом я уехал и два года Фонсеки не видел.

А сегодня сижу себе на бульваре, пью кофе, смотрю, идет Эпитасий Фонсека собственной персоною, пальто на нем кашемировое длинное, шляпа мягкая тонкого фетра, башмаки узконосые блестят так, что глазам больно, на правой руке перчатка лайковая, левая в кармане, но как-то странно, кажется, будто в карман пустой рукав заправлен, а руки нету, ну, я не стал об этом раздумываться, а вскочил.

— Фонсека, — кричу, — Фонсека, ты ли это!

Фонсека остановился, улыбается сдержанно, но видно, что тоже мне рад. Ну, обнялись мы, он меня правой рукой по спине похлопал:

— Как ты?

— Да ничего, вот, в отпуск приехал.

— А ты?

— А я прекрасно, сам видишь.

— Вырос, небось, по службе-то, управляющим стал.

— Бери выше, я теперь главный манекен, лицо фирмы, в витрине больше не стою, в рекламе снимаюсь и на обложку каталога.

— А что с рукою-то...

— А с рукою, — сказал Фонсека, — с рукою пустяки, резьба чуть-чуть сорвана, сделаешь два шага и выпадает из рукава, я отдал в мастерскую, пусть поправят, они умельцы, все могут.

— Ааа, — сказал я.

— Ага, — сказал Фонсека, переступил с ноги на ногу и почесал нос. — Ну, ты заходи как-нибудь.

— Зайду, — сказал я, — зайду...

ВАГОНОВОЖАТЫЙ

Александру Богдановскому с любовью

...А когда он все бросил и пошел водить трамваи, никто уже и не удивился. Ну, Маргариде заплакала, конечно, ее можно понять, раньше-то она была госпожой профессоршей, а кем стала и сказать неудобно, если кто спросит, но никто, конечно, не спрашивал.

Все знали и жалели ее. Бедняжка, говорили, за что ей такое, но говорили тихо-нечко, друг с другом, а ее старались не беспокоить, потому и не звонили лишний раз и в гости не звали, чтобы ей не чувствовать себя неловко перед старыми друзьями.

А он еще, как у него испытательный срок кончился, повадился проезжать по утрам мимо дома и звонить в звонок, чтоб Маргариде из дому выскочила в халатике и подала б ему прямо в кабину узелочек с завтраком и кофе в термосе.

Он рано начинал, раньше всех, трамваи у нас в городе ходят с шести утра, а он и в пять выезжал, и в четыре, не спится ему, он оденется и идет, не покушав, чтобы Маргариду не будить, а в девять где-то подъедет, затормозит у подъезда, и ну трезвонить. А если Маргариде не сразу выходит, еще прикрикивает зычно так:

— Эй, жена, завтракать неси!

Народу к нему в трамвай набивалось, страх: вначале студенты его, потом коллеги, а потом туристы. Он очень любил, когда в трамвае было много туристов, возил их по всему городу и рассказывал, рассказывал. Он же языков восемь знал или девять.

Я как-то видела, как он туристов выгружал на площади, туристы выходили из трамвая пошатываясь, и вид у них такой был бессмысленно-счастливый, как будто они летали.

Потом к нему стали записываться заранее, тут Маргариде ожила, перестала плакать, накупила халатиков шелковых, завела домашние шлепанцы на каблучке на каждый день разные, с помпонами и без.

Утром встанет, подкрасится, халатик наденет и сидит в прихожей у двери, ждет трамвая; он только зазвонит, она выскакивает цок-цок-цок по брусчатке, на подножку прыг, туристы сразу хлопать начинают и фотографировать.

Маргариде на них и не смотрит, расцелует своего вагоновожатого, узелочек ему подаст нарядный, термос в бабочках, спрыгнет на землю и обратно бежит, в разрезе халатика ножки голые посверкивают, а потом, если настроение хорошее, еще из двери выглянет и рукой туристам помашет или поцелуй воздушный пошлет, но это нечасто, не каждый день.

У меня где-то был журнал иностранный, там во всю обложку дверь приоткрытая, в дверях Маргариде, губки эдак игриво сложила, и написано что-то не по-нашему, но, должно быть, хорошее написано, потому что Маргариде этих журналов штук сто купила и всем дарила.

А потом вдова лифтера Мейрелеса из того дома, где раньше была мануфактурная лавка, а теперь китайцы торгуют всякой дрянью, сказала:

— А вы видели, дона Мадалена, — это она мне говорит, — вы видели, — спрашивает, — дона Мадалена, где он ездит?

А как я могла видеть, если я на работу и с работы пешком хожу, мне тут недалеко, а вдова Мейрелеса говорит:

— А вы, — говорит, — посмотрите, он там, — говорит, — ездит, где рельсов нету, это все происки нечистого, вот увидите, дона Мадалена, последние дни наступают. Вот и падре Эустакио в воскресенье говорил.

Я ее, конечно, оборвала. Глупости, — сказала, — дона Зелия (вдову Мейрелеса Зелия зовут). — Вам-то, — говорю, — откуда знать, есть там рельсы или нет, вы и из дому-то почти не выходите, вам даже покушать из кафе присылают, а в церковь приходская машина возит.

Но вдова Мейрелеса уперлась:

— Попомните, — говорит, — мои слова, дона Мадалена.

И ведь права оказалась вздорная старуха, кто бы мог подумать... в общем, в самом конце октября, недели за две до Святого Мартина, угнал он свой трамвай, об этом потом во всех газетах писали и по телевизору тоже показывали.

А внук вдовы Мейрелеса в кафе говорил, что вроде бы в проулке Верных Господу за трамваем погналась полиция с сиренами и будто бы даже стреляла, а профессор будто бы отстреливался, хотя это, конечно, чушь, как это он отстреливался, он же не гангстер какой.

А потом рельсы вдруг пошли вверх-вверх-вверх, и он по ним — над проулком, над полицией, над рекой — и уехал, растаял, только рельсы остались, но через часок растаяли и они...

ДЯДЯ ДИДИ УМЕР

Дядя Диди умер после ужина. Я только встала, чтобы собрать тарелки, и тут позвонил Нуно.

— Руй.

— Нуно.

— Руй.

— Разве он не Нуно?

— По-моему, он Руй.

— Ну, пусть будет Руй.

— Да ладно, пусть Нуно.

Руй или Нуно позвонил после ужина и сказал, что дядя Диди умер. Дядя Диди умер, сказал Руй или Нуно, а Каяна сказала: Ну вот, опять.

Каяна: Ну вот, опять.

— Каяна этого не говорила.

— Сказала.

— Не говорила. Она ела мороженое.

— Она выплюнула мороженое и сказала: «Ну вот, опять».

— Она не плевала мороженого, мороженое выплюнул я, оно было слишком холодное.

— Потому что оно мороженое. Если бы ты хотел чего-нибудь теплого, ты съел бы котлету.

— Котлеты не удались.

— Котлеты замечательно удались, просто тебе хотелось мороженого, ты сам сказал. Я вообще не понимаю, для кого я готовлю, я бы тоже прекрасно могла обойтись мороженым. Или йогуртом. Я, если хочешь знать, вообще могу не ужинать.

Каяна: Ну вот, опять.

Руй или Нуно: Дядя Диди умер. Это не шутка.

Каяна: Ты это уже говорил.

Руй или Нуно: Что не шутка — не говорил.

Каяна: В прошлый раз ты говорил то же самое.

Руй или Нуно: Что то же самое?

Каяна: Что не шутка.

Руй или Нуно: Ну и в прошлый раз была не шутка.

Каяна: Ну вот, опять.

Я положила трубку и стала собирать тарелки. Дядя Диди дядей Диди, а стол должен быть чистым.

— Конечно, это же не твой дядя!

— И вовсе не поэтому.

— Поэтому-поэтому, если бы это был твой дядя, ты бы хоть минуту подождала, прежде чем отнимать у меня блюдечко из-под мороженого.

— И вовсе не поэтому, а просто дядя Диди умирает каждые полгода, а капли от мороженого засохнут, их будет противно оттирать.

— Противно — не оттирай.

— А кто будет оттирать? Ты, что ли? Ты хоть что-нибудь оттер в своей жизни? Я вообще не понимаю, для кого я стараюсь, я бы тоже могла пачкать и мусорить, а убирает и моет пусть кто-нибудь другой, а я буду только сидеть и критиковать.

Каяна: Ну вот, опять.

Руй или Нуно: Вы бы погодили пока с этим. Дядя Диди умер. Это не шутка.

Каяна: Сколько раз ты будешь это повторять?

Руй или Нуно: До тех пор, пока вы не услышите.

Каяна: Мы слышали, можешь валить.

Руй или Нуно (размеренно): Дядя Диди умер. Это не шутка.

Каяна: Эй! Там, у стола! Дядя Диди умер! Это не шутка!

Я унесла тарелки на кухню, составила их в мойку, намылила и вернулась в комнату. Каяна сидела в кресле с телефоном.

— Нет, я сидел в кресле с телефоном.

— Ты сидел у стола.

— Нет, я сидел в кресле с телефоном, а Каяна ушла одеваться, ты даже спросила, когда пришла: А где Каяна?

Я: А где Каяна?

Голос Каяны из другой комнаты: Я одеваюсь!

Я: Зачем?

Голос Каяны из другой комнаты: Дядя Диди умер! Это не шутка!

Я: Я знаю, что не шутка. А зачем ты одеваешься?

Голос Каяны из другой комнаты: Пойду к нему, спрошу, зачем он все время это делает.

А Каяна сказала: Пойду к нему, спрошу, зачем он все время это делает.

У Каяны иногда бывают странные идеи.

Я: Каяна, у тебя иногда бывают странные идеи. Зачем ты пойдешь к дяде Диди?

Каяна выходит из комнаты полностью одетой: Пусть он скажет, зачем он все время умирает.

Я: Каяна, дяде Диди сто четыре года. Оставь его в покое. У него просто нет других развлечений.

— Это я сказал, что у него просто нет других развлечений.

— Какая разница, кто сказал?

— Нет уж, взялась рассказывать — так рассказывай, как на самом деле все было.

— Я сказал Каяне: оставь дядю Диди в покое. У него просто нет других развлечений.

— А тебе обязательно надо, чтобы последнее слово осталось за тобой!

Каяна: Ну вот, опять. Лучше я пойду к дяде Диди. Он хотя бы не скандалит все время.

Руй или Нуно: Еще как скандалит!

Каяна: А ты чего лезешь? Тебя тут нет!

Руй или Нуно: А я как раз опять позвонил и все слышал!

Каяна: Зачем это ты опять позвонил?

Руй или Нуно: Я позвонил сказать, что дядя Диди пошутил.

Каяна (деревянным голосом): Ну вот, опять.

ПЛАЧ ОДИНОКОЙ ГУСЕНИЦЫ

Уважаемый господин издатель!

Я уже писал к Вам, но ответа не получил, должно быть, он затерялся или почтальон не дошел до нас и вывалил письма в канаву, это часто случается в последнее время, до нас очень трудно добраться, не всякий почтальон сумеет, особенно из этих, из новых.

Раз в месяц мальчишки бегают проверять канаву и все время что-нибудь находят. Однажды нашли почтальона, почти целого, только немного объеденного.

Падре Лукас нарек его Галерием, потому что видел однажды римскую статую, и у нее точно так же был отбит нос. Мы устроили Галерию прекрасные похороны, Падре Лукас произнес очень трогательную надгробную речь, мы все плакали.

Уважаемый господин издатель!

Вы, должно быть, спрашиваете себя, кто я такой и зачем отнимаю Ваше время. Своего прежнего имени я Вам не назову, я его оттрнул и теперь называюсь Пьер Брассикай.

Я давно и очень внимательно читаю Ваш журнал, еще с тех пор, когда ребенком прятался от матушки на чердаке.

На чердаке лежали газеты и журналы — матушка моя, царствие ей небесное, — читать умела, но не любила, а газеты и журналы шли на растопку и еще на утепление — мы заталкивали смятые страницы в щели между плохо пригнанными камнями, и тогда зимой не так дуло.

К тому же — тут я уже вплотную подхожу к цели своего письма, — я связан с Вашим журналом и лично с Вами еще более давними и тесными узами. Именно Вы, будучи молодым сотрудником редакции, написали обо мне заметку.

Матушка показала мне ее, когда мне исполнилось десять лет. Вы должны помнить меня. «Дитя, найденное в капусте», помните? Так называлась Ваша заметка. Там была маленькая фотография, на ней молодая матушка держит в одной руке капустный кочан, а другой прижимает к себе младенца. Этот младенец я.

Уважаемый господин издатель!

Я знаю, что многие родители, стремясь уберечь невинность своих детей от грязи этого мира, говорят, будто нашли их в капусте. Не знаю, хорошо ли это. Раньше или позже все дети вырастают и обнаруживают, что над ними посмеялись.

И только мне было нечего обнаруживать. Я подозревал, что я не родной сын матушки, что с моим рождением связана какая-то тайна, но матушка долго не желала мне ее открывать. И только на мой десятый день рождения она вытащила из-под кровати свой сундук — я всю жизнь мечтал в него заглянуть, но за любую попытку прикоснуться к нему и даже просто забраться под кровать матушка сурово меня наказывала, пока совсем не отучила трогать ее вещи.

Из сундука матушка вынула альбом с вырезками, и на первой же странице была наклеена Ваша заметка о младенце на капустном поле. Вот, сказала матушка, читай. Так я узнал, что меня нашли в капусте, между третьей и четвертой грядками, если считать от реки.

Уважаемый господин издатель!

Я опросил всех жителей нашей деревни и всех других людей, с которыми мне довелось столкнуться. Знаете, что я обнаружил? Никого из них не нашли в капусте!

Одна женщина говорила, что ее нашли в цветке лотоса — она и впрямь была совсем крошечная и хотела жить со мною, но я совершил ужасную ошибку, не проделал в крышке банки дырочек для воздуха, и она умерла. Но я могу вам прислать ее чучело, я сам его сделал, и для первого опыта вышло даже неплохо. Я им горжусь.

Уважаемый господин издатель!

Я уверен, что и среди Ваших сотрудников и читателей Вы не встретите ни одного, найденного в капусте.

Я уже давно пишу стихи, с тех еще пор, когда ребенком убегал от матушки на капустное поле. Я ложился меж грядок и ждал, не заговорят ли со мною мои настоящие родители — я даже не знаю, кто они, и в родстве ли я с капустой или, наоборот, с бабочкой капустницей, *Pieris brassicae**, она тоже бросает своих детей на капустном поле.

Но увы. Ничей нежный голос не позвал меня, пока я лежал на холодной комковатой земле, никто не сказал: — Сынок! Как ты вырос!

Ничья любящая рука не взъерошила мне волосы, и ничьи мягкие губы не запечатлели поцелуя у меня на лбу.

Но зато я начал писать стихи. Эти стихи, «Плач одинокой гусеницы», я и взял на себя смелость отправить Вам, уважаемый господин издатель, я уверен, они будут прекрасно смотреться на страницах Вашего журнала.

С неизменным к Вам почтением, Пьер Брассикай.

СТАНЬ ВОДОЙ

— Если ты, дитя, всерьез решила ходить в этот бассейн...

— Тренер Изабел! Тренер Изабел!

— Ты уже переделалась? Молодец, теперь посиди, подожди остальных.

— Если ты всерьез решила ходить в этот бассейн, ты должна научиться правильно мыться в душе.

— Тренер Изабел! Тре-нер-И-за-бел!!

— Правильно мыться в душе — это великое искусство, и не все им владеют. На твое счастье, здесь есть я.

— Тренер Изабел!

— Я шапочку забыла!

— Где моя резинка для волос?

— Не толкайся, не толкайся, я тебя сейчас так толкну!..

— Я писать хочу! Тренер Изабел, я хочу писать, я напишю в ба-се-ин!

— Сейчас, сейчас пойдем в туалет. Кому еще надо? Быстро, быстро соображайте! А кто напишет в бассейн, не будет купаться до конца месяца. Так, раз, два, три... а ты?

— Я не хочу, я дома писала.

— Ну, смотри... Всё, мы идем в туалет, а вы сидите тут на скамеечке, не балуетесь, не пихаетесь, не кричите и ждете нас. Все поняли? Ну?

— Все-е-е-е...

— На твое счастье, здесь есть я. Слушай меня, дитя, слушай внимательно. Когда ты выходишь из бассейна, губы у тебя синеватые, а кожа в пупырышках, как у ошипанной курицы. Ты чувствуешь, что пальцы у тебя на ногах свело от холода, а под коленками будто бы что-то мучительно тянет.

* Теперь вы поняли, откуда взялся мой псевдоним? Недурно придумано, не правда ли?

— Тренер Изабел!!!

— Чего ты кричишь, она же в туалете.

— С Пауло.

— С Анжелиной.

— И с Эленой.

— Пауло — вообще зассанец. Он в прошлый раз в бассейн написал.

— Ты тоже написала!

— Я не писала, сама ты писала!

— Я-то не писала, а вот ты-то писала!..

— Не толкайся, дура!

— Сама ты и дура!

— Что-то мучительно тянет. Не отвлекайся, дитя, я не стану повторять дважды.

Нет, стану, если тебе понадобится, но сейчас не отвлекайся и слушай меня. Никогда не ходи в душевую с кабинками и занавесками. Вода там недостаточно горяча. Иди в большую темную душевую, где краны по кругу. Не бойся, свет зажжется сам. Иди туда и включай горячую воду.

— Замечталась, замечталась, рот раскрыла! Муху проглотишь!

— Тренер Изабел-е-ел!! Скажите им!!

— Ябеда-корябеда со сьерры да Аррабида!

— И включай горячую воду. Когда включишь — сразу под струю не вставай, дай ей нагреться. Ты слышишь, дитя?

— Сидите? А я уже пописал!

— Зассанец!

— А ты!.. Ты сама!.. Тренер Изабел!!

— Ты слышишь, дитя? Вода должна нагреться. Она должна стать совсем горячей, должна почти обжигать. Этого не объяснить, но я буду рядом, я скажу тебе, что вода стала правильной температуры. Тогда ты встанешь под нее и сразу ощутишь, как расслабляются твои пальцы, как выпрямляются колени, как разглаживается и розовеет кожа. Главное — не выйти из-под душа слишком рано. Стой и чувствуй воду, слушай воду, думай воду, дыши водой, стань водой...

— Так, все тут? Шапочки все надели? Все, пошли. Проходим, проходим, все вместе... А ты куда?

— А там что?

— Там другая душевая, без кабинок, туда нельзя.

— Почему нельзя?

— Потому что кончается на у. Там света нет. Иди давай.

— А она сказала, что свет сам зажжется. Тренер Изабел, а кто это был?

— Где был? Кто сказал?

— Ну, она рассказывала, как правильно мыться горячей водой в душевой без кабинок, и сказала, что надо слушать воду, и думать воду, и стать водой.

— Что ты опять придумываешь?! Придумываешь и придумываешь. Я вызову твою маму, вот увидишь! Иди, не отставай от группы.

— Слушай воду, думай воду, дыши водой, стань водой. Ты все поняла, дитя?

В ПАПУ

А один человек в нашем доме, Мейрелес его фамилия, потерял несколько лет назад малютку-дочь. Ужасное было горе, вроде бы девочка чем-то заболела или не заболела, а упала, или ее покусали, кажется, она даже лежала в больнице, но Мейрелес, человек молодой и полнокровный, до смерти боялся больниц и избегал там бывать.

И когда доктор сказал готовиться к худшему, и жена Мейрелеса страшно зарыдала, Мейрелес был в командировке. Поил клиента нефилтрованным пивом, а через день

вернулся — веселый и с лучшей куклой из тех, что продавались в магазине сопутствующих товаров на заправочной станции, и узнал, что дочери у него больше нету, а все его осуждают, и жена, и теща, и собственная его мать, хотя ему-то и было хуже всех.

Им доктор еще когда велел готовиться к худшему, и они приготвилились, а Мейрелеса смерть девочки застала врасплох. Выходило, что до командировки у него была маленькая девочка, встречала его у двери, кричала с радостным смехом: — Папочка приехал, папочка куклу привез.

И вот ее больше нет. И оттого, что нет у него больше маленькой девочки, Мейрелес затосковал, как тоскуют только молодые, полнокровные люди, страстно, яростно, будто в бой бросился или в омут, и, тоскуя, не заметил, как его уволили с работы, и как жена собрала вещи и ушла.

Он все мучился оттого, что не помнит малютки-дочери лица, платьице нарядное помнит, пижаму в мишках помнит, спортивные башмачки с цветными фонариками — идешь, а они светятся — помнит. А лица нет, и даже фотографии не помогают, он смотрит — а лицо девочки расплывается, должно быть, от слез.

И как-то сидел Мейрелес на кладбище у дочериной могилки, пытался вспомнить лицо девочки своей, и тут кто-то рядом неуверенно сказал:

— Папочка приехал...

— Куклу привез, — машинально ответил Мейрелес. И кто-то рядом засмеялся радостным смехом.

Я их часто вижу: Мейрелеса и его малютку-дочь. Девочка у Мейрелеса хорошая, нарядная, веселая, бегаёт с куклой, смеется, лепечет что-то, очень миленькая, ну, может, слишком маленькая для ее возраста, медленно растет.

Соседи еще говорят: лица на ней вроде нет, то есть не видно его — посмотришь, а оно расплывается, будто от слез. Но это просто она в Мейрелеса пошла, у него самого лица с детства не было, с тех пор как его сбил фургон и доктор велел его родителям готовиться к худшему.

КВАРТИРНАЯ ХОЗЯЙКА

Жиличка с седьмого этажа курила у открытого окна, кутаясь в толстый махровый халат. Под халатом у нее был еще один халат, потоньше, под ним — фланелевая пижама, под пижамой — полушерстяная майка с длинным рукавом.

Но жиличке все равно было холодно, и она ежилась и думала, что, если бы не старуха, она бы закрыла окно, забралась в постель, навалила на себя одеял — и курила бы, отогреваясь.

Старуха делала вид, будто не выносит запаха дыма, хотя сама — жиличке это было известно наверняка — выкуривала когда-то по две пачки в день. Теперь она уже не курила и грозила поднять жиличке квартплату, если в квартире будет пахнуть табаком.

Жиличка и сама была не рада, на сигареты уходило больше денег, чем она могла себе позволить, к тому же, по утрам ее стал мучить неприятный сухой кашель, но ей казалось, что, если она бросит курить сейчас, это будет выглядеть, будто она испугалась старухи.

В окно тянуло холодом, жиличка горбилась и старалась поплотнее завернуться в верхний халат. Ее ноги в шерстяных носках и растоптанных меховых домашних туфлях совсем заledenели, но она не закрывала окна.

Пусть проветривается. Сегодня последний четверг месяца, старуха ужинает у сына этажом ниже. Завтра в пятницу она пойдет по жильцам собирать квартплату, заявится к ней, будет приноживаться.

В их подъезде старухе принадлежало восемнадцать квартир — в одной жил ее сын, две были заперты, в них хранился какой-то старухин хлам, три или четыре пустовали, а остальные старуха сдавала и каждую последнюю пятницу месяца яв-

лялась к жильцам с осмотром и за деньгами. С сына она денег не брала и постоянно ему об этом напоминала.

Жиличка почти докурила, когда снизу, из квартиры старухино сына раздались громкие недовольные голоса. Ругаются, поняла жиличка.

Старуха начинала пилить сына еще до ужина. Сын вначале молчал, но к десерту, выпив вина и расхрабрившись, начинал отвечать, и четверть часа спустя в квартире громыхал скандал.

Старуха резким жестяным голосом призывала проклятия на голову непочтительного сына, сын нечленораздельно рычал в ответ, звенела бьющаяся посуда и трещала ломающаяся мебель. Мебель в сердцах ломал сын, он же потом ее и чинил, в одной из пустующих квартир у него была мастерская.

Старуха била посуду. Но друг друга они обычно не трогали, хотя жильцы постарше рассказывали, что как-то, лет пятнадцать назад, только что бросившая курить старуха крепко отколотила сына крутящейся стоечкой для пряностей.

Жиличка загасила окурок, выбросила его и собралась закрыть окно, но тут старухины крики перешли в истошный кроличий визг. Когда жиличке было десять лет, ее летом отправили к дяде. Дядя разводил кроликов на мясо, и жиличка на всю жизнь запомнила, как они кричат перед смертью.

«Убивает он ее, что ли», — беспокожно подумала жиличка и высунулась в окно, пытаюсь понять, что происходит внизу. Внезапно со странным лопающимся звуком из окна нижней квартиры выпала рама со стеклами и с грохотом и звоном упала на землю, а следом — спиной вперед — вылетела старуха в чем-то белом, спадающем воздушными складками.

Жиличке показалось, что это свадебное платье, но тут же она поняла, что это сорванная с окна тюлевая занавеска. На мгновение старуха зависла в воздухе, забила руками, будто утопающая, и вдруг взмыла, со свистом пролетела мимо окаменевшей жилички, щекотно мазнув ее по лицу тонким тюлем, и свечой ушла в небо.

Жиличка долго стояла, глядя в небо: небо было ясное, звездное, и по нему летел, мигая огоньками, крошечный самолет, потом дрожащей рукой нащупала пачку, вытащила отложенную на утро сигарету, сунула в рот и защелкала зажигалкой.

Внизу кто-то откашлялся. Жиличка затянулась и посмотрела вниз — из выбитого окна высунулся старухин сын. Лицо у него было такое, будто он вот-вот заплачет.

— Мамаша-то моя, — сказал он, горестно кривясь. — Мамаша-то... А?

— Да, — сказала жиличка. — Да-да. Да-да-да.

— Вот, — непонятно сказал сын и замолчал.

Жиличка загасила сигарету.

— Пойду я, — сказала она. — Завтра рано вставать.

— Доброй ночи, — откликнулся сын. — Я тут пока постою. Может, мамаша...

— Да, конечно, — сказала жиличка. — Очень даже запросто. Я про такое читала.

— Спасибо, — сказал сын с чувством. — Спасибо вам.

Он посопел.

— Вы не могли бы, — спросил, — дать мне одну сигаретку? Свои я перед мамашиним приходом выкинул, чтобы она не ругалась.

